

*Посвящается
Джону Бёрджеру
Саймону Макбёрни
Лиз Колдер
Александре Прингл
Ребекке и Эвану*

I

Река Эско
Камбре, Франция
1917

Мы знаем: жизнь — конечна. С чего б нам тогда верить, будто смерть длится всегда?

*

Тень птицы переместилась через холм; самой птицы он не разглядел.

*

Его утешали определенные мысли:

Все пронизывается желанием; ничто человеческое нельзя от него очистить.

Мы способны думать о неведомом лишь в понятиях ведомого.

Время нельзя привязать к скорости света.

Прошлое существует как миг настоящего.

Быть может, самое важное нам известное не может быть доказано.

Он не верил, будто тайна в сердце вещей расплывчата, смутна или несоответствие, а считал ее местом для чего-то в нас совершенно точного. Он не верил в заполнение этого места религией или наукой, а считал,

Энн Майклз

что нужно оставить его в целости; вроде безмолвия, или немоты, или длительности.

Быть может, смерть — лагранжиан, быть может, ее возможно определить принципом стационарного действия.

Асимптотика.

Мгла курилась, словно погребальные костры под дождем.

*

Возможно, взрыв отобрал у него слух. Деревьев, чтобы определить ветер, ветра, подумал он, вообще никаких. Шел ли дождь? Джон видел, как поблескивает воздух, но на лице у себя влаги не ощущал.

*

Мгла стирала все, к чему прикасалась.

*

Сквозь занавес своего дыхания увидел он вспышку, выкрик света.

*

Было очень холодно.

Где-то там — его драгоценные сапоги, его ноги. Надо бы встать и поискать их.

Когда он ел в последний раз?

Есть не хотелось.

Когда нас держат

*

Просачивается память.

*

Падал снег, ночь и день, снова в ночь. Безмолвные улицы; по ним не проедешь. Они решили пойти друг к дружке пешком через весь город и встретиться посередине.

Небо — даже в десять вечера — было фарфорово, бледная плотность, от которой снег отсоединялся и падал. Холод очищал — благословение. Оба они выйдут в одно и то же время и не собьются с маршрута, будут идти, пока не найдут друг дружку.

*

Вдали, в густом снегопаде Джон увидел обрывки ее — с лакунами, мерцающая: темная шляпа Хелены, ее перчатки. Пока еще трудно было сказать, насколько она далека. Он стряхнул снег со шляпы, чтоб и Хелена сумела его увидеть. Да, она подняла руки над головой — помахать. Против белизны неба и земли различались только ее шляпа и перчатки да пылеватый желтый мазок уличных фонарей. Он едва чувствовал свои ноги или пальцы на руках, но остальному ему было тепло, чуть ли не жарко от ходьбы. Он затре-

петал от вида ее, от крупницы ее. Она была всем, что ему важно. Он ощущал незыблемое доверие. Вот они сблизились, но идти быстрее не могли. Где-то между библиотекой и банком они схватили друг дружку так, словно были единственными людьми, оставшимися на свете.

*

Ее мелкие повадки, известные только ему. Хелена подбирала носки к шарфику, хотя у нее в сапожках их не видел никто. У постели она держала — суеверно неоконченным — роман, который читала в парке в тот день, когда они поняли, что всегда будут вместе. Бумажно-тонкие кожаные перчатки, которые нашла она в кармане мужского твидового пиджака, купленного на распродаже. Материно кольцо, которое надевала лишь к определенной блузке. Сумочку она оставляла дома, а пятишиллинговую купюру совала в книгу, когда выходила читать в парк. Жестянка из-под леденцов, где она хранила иностранную мелочь.

*

Хелена несла сумочку, которую он ей купил на Хилл-роуд, мягкая коричневая кожа, с застежкой в виде цветка. На ней был шел-

Когда нас держат

ковый шарф, найденный ею на рынке, а теперь ею присвоенный запахом ее, осенние краски с темно-зеленой каймой, и твидовое пальто с бархатом под воротником. Сколько раз щупал он этот бархат, когда держал ей раскрытым пальто. Конечное число раз. Каждое наслаждение дня или жизни — сочтено. Но наслаждение еще и бесчисленно, оно превышает самого себя — потому что оставалось, пусть только и в памяти; и еще в теле, даже когда забывалось. Даже пятно наслаждения и его издевка: утрата. Конечное так же непокорно, как и бесконечное.

*

Они дошли до его квартиры и оставили мокрую одежду у двери. Свет зажигать нужды нет. Жалюзи подняты, комната освещена снегом. Белые сумерки, невозможный свет. Джона всегда удивляло, он никогда не переставал изумляться тому, до чего ее мало, она крохотна, казалось ему, и так нежна и неистова, что дыхание спирало. Он купил душистого порошка, который ей нравился, и наполнил ванну. Насыпал слишком много, и пена перевалилась через курившийся край.

— Сутроб, — сказала она.

*

Всего в нескольких метрах от него лежал молодой солдат. Сколько он уже пялится? Джону хотелось его окликнуть, как-то пошутить, но он не обретал голоса.

*

Пришпиленный к земле, на нем никакой тяжести.

Кто бы поверил, что светом можно свалить человека.

*

Детская ручка Джона в руке его матери. Бумажный кулек с каштанами от торговца с жаровней перед лавками, держать без варежек слишком горячо. Прислониться к тяжелому материному шерстяному пальто. У щеки его — ее гладкая сумочка. Счищать с каштанов бурую шелуху кожуры до парящей мякоти. На рельсах визжит трамвай. Край материнского фартука выбивается у нее из-под пальто, фартука, который она забыла снять, фартука, который носила всегда. Трамваи, очереди, запахи рыбы и топлива. Мягкость ее против его трудного детства. Ее запах перед тем, как ему провалиться в сон, лощеное тепло ее ожерелья, когда она над ним склонялась. Лампа оставлена гореть.



Трактир выстроили у путей рядом с сельской станцией, в речной долине. Давным-давно трактир и долина манили к себе туристов, железнодорожная компания их рекламировала из-за вида на горы, луга с полевыми цветами, ароматные сосны и чистец. За рельсами поспешала медленная река, словно мать старалась догнать дитя, серебряные линии бежали по всей длине дола.

Хелена направлялась дальше, в городок покрупней, но уснула. Не могла удержаться, чтоб не задремать, поддавшись сну, словно бы одурманенная движением поезда. А когда тот остановился на последней станции перед городком, она, полусонная, недопоняла проводника, зычно объявившего следующую остановку, схватила свой саквояж и вышла одной станцией раньше.

За тусклым фонарем у выхода было темно — глубокая сельская тьма. Ей было глупо и страшновато; пустой перрон, запертый зал ожидания. Она уже собралась было расположиться на единственной холодной скамье и дожидаться рассвета, когда издали услышала смех. Потом она ему станет рассказывать, что слышала пение, хотя Джон не помнил вообще никакой музыки. Она встала у выхода, не желая покидать жалкую защиту той

единственной пыльной лампочки на вокзале. Но, склонившись во тьму, различила несколько вдали заманчивую лужицу света от трактира.

Потом она уже наделит недолгую прогулку в темноте к тому венцу света — вокруг нее шелестели нескончаемые поля незримых трав — свойствами сна; неизбежность этого, предвидение.

Заглянув в переднее окно, Хелена увидела комнату, замкнутую в собственном своем времени. Трактир легендарный, фольклорный — тепло и древесный дым. Вытертая обивка кресел, изрезанные деревянные столы и лавки, каменные полы, внушительный камин с таким запасом дров, что хватит продержаться и самую холодную зиму, в поленище от пола до потолка, нескончаемый запас их, как в сказке, каждое полено, воображала она, века напролет, как по волшебству восполнялось само собою. Она села поблизости, Джон наблюдал. Для него то была встреча внезапной близости в таком общественном месте; как склоняла набок она голову, как держалась, ее руки. Наблюдал он, как некий мужчина — нализавшийся и не стоящий на ногах, каждый тщательный шаг есть признание вращения Земли и наклона ее оси вращения — плюхнулся в свободное кресло напротив нее, одаряя Хелену медленным, мари-

Когда нас держат

нованным взором, пока голова его не упала, тяжелая, словно камень для керлинга, и не скользнула по столу. Джон и еще один наблюдатель одновременно вскочили помочь и вдвоем отволокли субъекта на зады паба, чтобы проспался. Когда Джон вернулся, его столик занимала парочка, не поднявшая голов, уже потерянная для всей комнаты вокруг них.

— Мне очень жаль, — произнесла Хелена, забирая пальто и саквояж, — займите, пожалуйста, этот.

Он настоял, чтобы она осталась. С большим усилием одолев робость, она спросила, не посидит ли он с нею. Позднее она расскажет ему о чувстве, пронзившем ее, необъяснимом, мгновенном, даже не мысли: если он сядет, она будет делить с ним стол всю оставшуюся жизнь.

*

В маленьком оконце коридора, от жарованны, видели они, как падает снег.

*

Черные ряды деревьев напоминали ему о зимнем поле, которое однажды видел он из окна поезда. И о черном море вечера, и о густо-черной шляпке и фартуке его бабушки,

когда взбиралась она от гавани, не переставая вязать, ведя за собой в поводу их древнего ослика, груженного тяжелыми корзинами с крабами. Все женщины в деревне носили свои пояса для рукоделия и держали вязанье всегда под рукой, подмышкой или в кармане фартука, рукава и передки свитеров, филигранная работа, неуклонно прираставшая по ходу дня. У каждой деревни своя петля; порт приписки каждого моряка можно было определить по узору его фуфайки, в котором содержалась и еще одна подпись — намеренная ошибка, по которой каждая вязальщица могла определить свою работу. Намеренно сделанная ошибка — все равно ошибка? Вязальщицы с побережья накидывали петли свои, как защитные чары, чтобы их мужчинам было безопасно, тепло и сухо, шерстный жир отталкивал дождь и морские брызги, доспехи передавались по наследству, от отца к сыну. Рукава вязали они короче, и их не нужно было засучивать, чтоб не мешали в работе. Плотная камвольная пряжа, поблекшая от соленого ветра. Гребни и борозды петель, как поля в марте, когда сажают картошку. Ворсовые петли, шнуровые, вафельное плетенье, тройная волна, якорь; градины, молнии, ромбы, ступеньки, цепочки, жгуты, квадраты, сетки, стрелки, флаги, снасти. Колючки Нордвейка. Черно-белые носки Терсхеллинга

Когда нас держат

(две белые нити, одна черная). Зигзаг Гудерде. Дерево жизни. Око Бога над сердцем владельца.

Если моряк расставался с жизнью в море, перед тем, как предать тело его пучине, с него снимали фуфайку и возвращали вдове. Если на берег вымывало рыбака, человека несли домой в его деревню, вязка его свитера — все равно что карта. А как только возвращали его в родной порт, вдова могла забрать любимое тело, опознанное по отчетливому талисману — намеренной ошибке в рукаве, в поясной резинке, манжете, плече, по нарушенному узору, столь же верному, как подпись на документе. Ошибка была посланием, отправленным во тьму, петлей напасти и ужаса, сигналом будущему, от жены — вдове. Молитвой, чтобы, где б ни нашли человека, вернули его семье и упокоили. Чтобы мертвые не лежали одни. Ошибка любви, доказывавшая ее совершенство.

*

Были такие правила моря, что применимы также и на суше, и любому моряку, знавшему изменчивый лик пучин, глупо было не внимать предостереженью. Если рано поутру на пути к пристани рыбаку попадался заяц или священник или глянул он в лицо жен-

щине — пусть хоть жене, дочери, сестре, матери, — в море выходить в тот день он уже не осмеливался. Вдоль по всем рассветным улицам к гаваням Северного моря женщины исправно отворачивались от мужчин. Да и после смерти имелись строгие обряды. В деревнях гробы несли вот как: рыбаки рыбаков, женщины женщин, сухопутные сухопутных.

*

Отец его отказался от моря ради полей. Что моряк, что земледелец — какая свобода ведома была его отцу или деду? Свобода того, кто горбатится, сея собственный урожай.

Когда Джон вообще вспоминал отца, ему удавалось припомнить словно бы лишь обрывки — чувство глубокое, но кусками — мгновенья вместе, даже не целые дни. Годы, вся жизнь — ныне лишь эта горсть, это полное сердце.

*

Байки, рассказанные на поле битвы, на спасательном плоту, в палате госпиталя ночью. В кафе, что исчезнет к утру. Кто-то подслушивает. Кто-то слушает, внимательно, всем своим сердцем. Никто не слушает. Байка, рассказанная тому, кто соскальзывает в сон — или в бессознательность, чтоб не

Когда нас держат

проснуться уже никогда. Байка, рассказанная тому, кто выживет, кто расскажет эту байку ребенку, кто запишет ее в книжку, чтобы читала ее женщина в той стране или времени, что не ее страна или время. Байка, рассказанная самому себе. Пылкая исповедь. Извилистый, однообразный поиск смысла в жесте, в том миге, что всю жизнь избегал понимания говорившего. Байки невнятные для слушателя, однако все равно получаемые — тьмою, ветром, местом, невоспринимающей или не воспринятой жалостью, даже безразличьем.

Даваемое нами у нас не отнять.

*

Уже было поздно. Снаружи трактира виднелся лишь тусклый свет станции да звезды за ним.

Джон не мог объяснить того, что чувствовал, — казалось, они с Хеленой уже бывали тут раньше, разыгрывали что-то, а все, о чем говорили они, было как-то предначертано. Джон чувствовал, что, вернись он в трактир назавтра, здания б там не оказалось и ее б не существовало.

Он сказал, что дождется с нею следующего поезда. Интересно, думал он, почему она

его не боится, чужака в этой глуши. Он сам ее немного боялся.

Внутри, в теплом трактире, беседовали они о повторных возможностях. Снаружи, в холодной ночи, казалось, что они знали друг дружку всегда. Он чуть не потянулся к ее руке.

*

Он поймет, позднее, что есть такой миг, когда жизнь твоя должна стать твоею собственной; ты должен истребовать ее у всех прочих баек, какие тебе скармливали, какие тебе передавали или навязывали или же с какими в руках ты остался, пока кто-то другой заявил права на свои. Он уже знал, что жизнь невыбранная, оставленная позади из трусости или стыда, не увядает. А вместе этого, без исключения, расцветает буйным цветом, заращая собой всю тропу впереди.

*

Это было б как шагнуть из своей одежды, думал он. Как войти в море, где уже не распознать, где начинается твоя кожа.

Прежде он никогда не задумывался, что утопление может оказаться нежной смертью. Но возможно, море в конце концов и станет

Когда нас держат

лучшим местом, где умереть. Море, где, как и в памяти — записал однажды он, — неуловимость формы есть сама форма. До того мига он бы говорил, что в таком умственном отъединении есть дисциплина. Теперь же он думал: когда что-то отъединилось, оно сломано.

*

Невозможно именовать точный миг, когда падет ночь, неуловимый, как и тот, когда нас одолевает сон.

*

Та вода, которой он мылся, воняла у него в каске — лужица до того мерзкая, что не держит отражение. Как будто сама темь шептала, он мог слышать голос Гиллиза. Поначалу Джон не знал, сам с собой Гиллиз разговаривает или же с кем-то еще, но вскорости сообразил, что слова Гиллиза предназначались ему. Где-то по пути дорожки их пересеклись. У своего отца Джон научился, что есть три вида сумерек — астрономические, навигационные, гражданские, — но в таком месте определить возраст зари было так же трудно, как и возраст человеческого лица. Гиллиз был на двенадцать лет старше Джона, и латали его уже не раз.